

Посвящается Дани Мерфи

Я бодрствую там, где умирают женщины.

Дженни Хольцер (1993)

12 ЧАСОВ

Ты — отпечаток пальца.

Открыв глаза в последний день своей жизни, ты видишь свой большой палец. В желтушном тюремном свете линии на подушечке твоего пальца похожи на высохшее русло реки, на закрученные узоры песка, размытого водой, которая когда-то протекала здесь, а теперь ушла.

Ноготь слишком длинный. Ты вспоминаешь старый миф из детства о том, что после смерти ногти продолжают расти, пока не скручиваются вокруг костей.

*

— Заключенный, назовите свое имя и номер.

— Ансель Пэкер, — отзываешься ты. — 999631.

Ты переворачиваешься на спину в койке. На потолке появляется привычная картина — узор водяных разводов. Если правильно повернуть голову, влажное пятно в углу обретает очертания слона. «Сегодня тот самый день», — думаешь ты, глядя на полосу вздувшейся краски, образующую слоновий хобот. Сегодня тот самый день. Слон улыбается так, словно знает страшную тайну. Ты потратил много часов, пытаясь в точности воспроизвести это выражение, отвечая слону

на потолке такой же улыбкой — сегодня она получается искренней. Вы со слоном улыбаются друг другу до тех пор, пока факт, что это утро наступило, не перерастает в возбужденное осознание, пока вы оба не становитесь похожи на маньяков.

Ты перекидываешь ноги через край койки, отрываешь свое тело от матраса. Ты надеваешь свою тюремную обувь — черные шлепанцы, которые велики тебе на пару сантиметров и в которых скользят ступни. Ты поливаешь зубную щетку водой из металлического крана, выдавливаешь крупитчатую полоску зубного порошка, затем смачиваешь волосы перед маленьким зеркалом, где стекло на самом деле не стекло, а исцарапанный, разъединенный алюминий, который не разлетится вдребезги, если попытаться его разбить. В нем твое отражение расплывчато и искажено. Ты один за другим обкусываешь каждый ноготь над раковиной, тщательно и равномерно отрывая белые ободки, пока ногти не становятся одинаково обгрызенными и короткими.

Капеллан, посетивший тебя вчера вечером, сказал, что зачастую самая тяжелая часть — обратный отсчет. Обычно тебе нравится этот капеллан — лысеющий мужчина, втягивающий, словно от стыда, голову в плечи. Капеллан в тюрьме «Полунски» недавно: лицо у него мягкое и покорное, открытое нараспашку, как будто можно проникнуть прямо ему в душу. Капеллан говорил о прощении, облегчении бремени и принятии того, что мы не можем изменить. Затем вопрос:

«Ваша свидетельница... — капеллан говорил через окошко для свиданий. — Она приедет?»

Ты представил себе письмо на полке в тесной маленькой камере. Манящий кремовый конверт. Капеллан смотрел на тебя с неприкрытой жалостью — ты всегда считал жалость самым оскорбительным чувством. Жалость — это разрушение под маской сочувствия. Жалость обнажает до костей. Жалость унижает.

«Она приедет, — сказал ты. Затем: — У вас что-то застряло в зубах». Ты смотрел, как рука капеллана востроженно взметнулась ко рту.

По правде говоря, ты не особо задумывался о сегоднешнем вечере. Все это слишком абстрактно, слишком легко принимает любую форму. Слухам о корпусе 12 никогда не стоит доверять: один парень вернулся помилованным всего за десять минут до инъекции, когда он уже был привязан к каталке, и рассказал, что его пытали несколько часов, загоняя под ногти бамбуковые щепки, как герою боевика. Другой заключенный утверждал, что его угостили пончиками. Ты предпочитаешь не строить догадок. Капеллан сказал, что бояться — это нормально. Но ты не боишься. Вместо этого ты испытываешь тошнотворное чувство изумления — в последнее время тебе снится, что ты летишь по ясному голубому небу, паря над огромными кругами на полях. Твои уши закладывает от перепадов высоты.

*

Наручные часы, которые ты унаследовал в отсеке С, переведены на пять минут вперед. Ты предпочитаешь быть готовым. Они показывают, что у тебя осталось одиннадцать часов двадцать три минуты.

Тебе обещали, что больно не будет. Тебе обещали, что ты вообще ничего не почувствуешь. Однажды напротив тебя в комнате для свиданий сидела психиатр в строгом костюме и дорогих очках. Она сказала тебе то, о чем ты всегда подозревал и что невозможно забыть, то, чего ты предпочел бы никогда не слышать. По твоим обычным расчетам, выражение лица психиатра должно было дать тебе больше — как правило, ты можешь определить надлежащую степень огорчения или сожаления. Но лицо психиатра было намеренно непроницаемым, и ты возненавидел ее за это. «Что вы чувствуете?» — спросила она. Вопрос был бессмысленным. Чувства имели так мало значения. Поэтому ты пожал плечами и ответил правду: «Я не знаю. Ничего».

*

К 6:07 утра твои принадлежности уже готовы.

Вчера вечером ты смешал краски — Лягушатник научил тебя этому еще в отсеке С. Ты раздавил набор цветных карандашей корешком тяжелой книги, затем смешал порошок с баночкой вазелина из тюремного

ларька. Ты размочил в воде три палочки от эскимо, которое выменял на десятки пакетиков приправы для лапши быстрого приготовления, и обрабатывал дерево, пока оно, истершись, не расщепилось на волокна, похожие на щетинки кисти.

Теперь ты устраиваешься на полу у двери камеры. Ты следишь за тем, чтобы край твоего картонного холста находился прямо в полосе света, падающего из коридора. Ты не обращаешь внимания на поднос с завтраком на полу, нетронутый с тех пор, как его принесли в 3:00 ночи, — подливка покрылась пленкой, а консервированные фрукты уже кишат муравьями-древоточцами. Сейчас апрель, но кажется, что июль; часто работает отопление, и кусочек сливочного масла растаял, превратившись в лужицу жира.

Тебе разрешено иметь только одно электронное устройство — ты выбрал радиоприемник. Ты тянешься к ручке, раздается треск помех. Мужчины в ближайших камерах часто выкрикивают свои пожелания — ритм-н-блюз или классический рок, — но они знают, что произойдет сегодня. Они не возмущаются, когда ты настраиваешься на свою любимую станцию. Классическую. Симфония звучит внезапно и шокирующе, заполняя каждый уголок бетонного пространства. Симфония в фа мажор. Ты приспосабливаешься к существованию звука, свыкаешься с ним.

«Что вы рисуете?» — как-то спросила Шона, просовывая поднос с твоим обедом в дверную щель. Она

наклонила голову, чтобы получше рассмотреть твой холст.

«Озеро, — ответил ты. — Место, которое я когда-то любил».

Тогда она была еще не Шоной, а надзирателем Биллингс: волосы собраны в низкий тугой пучок, форменные брюки сморщены на выпуклых бедрах. Она стала Шоной шесть недель спустя, когда прижала растопыренную ладонь к твоему окошку. Ты узнал этот взгляд Шоны, ты видел его у других девушек в других жизнях. Испуг. Своим желанием, таким ранимым и неуправляемым, она напомнила тебе Дженни. «Назовите мне свое имя, надзиратель», — попросил ты, и она густо покраснела. Шона. Ты повторил это имя благоговейно, как молитву. Ты представил, как нервно бьется ее пульс, как трепещут голубые венки на тонкой белой шее, и стал чем-то бóльшим, и черты новой версии тебя уже проступили на твоём лице. Шона улыбнулась, показав щербинку между зубами. Смущенно, плотоядно.

Когда Шона ушла, Джексон одобрительно, с грубыми шуточками заулюлюкал из соседней камеры. Ты выдернул из простыни торчавшие нитки, привязал к концу миниатюрный батончик «Сникерс» и запустил его под дверь Джексона, чтобы тот заткнулся.

Ты пытался нарисовать что-нибудь другое для Шоны. Нашел фотографию розы, засунутую в один из учебников по философии, которые ты брал в библиотеке. Ты идеально смешал цвета, но лепестки не получились.

Роза оказалась размытым жгуче-красным пятном, все углы неправильные, и ты выбросил холст, пока Шона его не увидела. В следующий раз, когда она отперла твою камеру, чтобы отвести по длинному серому коридору в душевую, Шона как будто что-то знала — она потянулась к металлу твоих наручников и прижала большой палец к внутренней стороне твоего запястья, проверяя. Надзиратель по другую сторону от тебя тяжело дышал через нос и не заметил, как ты вздрогнул. Ты так давно не чувствовал ничего, кроме грубых рук, тащащих тебя через клетки, прохладных ребер пластиковой вилки и скучного удовольствия от собственной руки в темноте. Прикосновение Шоны вызвало электрический трепет.

С тех пор вы усовершенствовали этот обмен.

Записки, спрятанные под обеденными подносами. Мгновения, улученные между твоей камерой и клеткой для прогулок. Буквально на прошлой неделе Шона просунула в дверную щель твоей камеры сокровище — маленькую черную шпильку для волос из тех, что усеивали ее гладкий пучок.

Теперь ты обмакиваешь палочку от эскимо в синюю краску в ожидании ее шагов. Твой картонный холст терпеливо разложен вдоль двери, уголок к уголку. Сегодня утром у Шоны будет ответ. Да или нет. После вашего вчерашнего разговора он может быть любим. Ты умеешь игнорировать сомнения, сосредотачиваясь на предвкушении, словно оно — живое существо, покоящееся у тебя на коленях. Начинается новая симфония, сперва

тихая, затем все более напряженная и глубокая, — ты концентрируешься на стремительном ритме виолончели, думая о том, что событиям свойственно ускоряться, наслаиваться, и это всегда приводит к захватывающему крещендо.

*

Рисуя, ты посматриваешь на бланк. Опись имущества осужденного. Каким бы ни был ответ Шоны, тебе придется паковать вещи. В изножье койки лежат три красных сетчатых мешка — самые необходимые вещи перевозят в тюрьму «Стены», где у тебя, прежде чем все заберут, будет еще несколько часов с земными ценностями. Ты лениво набиваешь мешки всем, что накопил за последние семь лет в «Полунски»: запасными тюбиками зубной пасты, острым соусом и кукурузными колечками со вкусом лука. Теперь все это бессмысленно. Ты оставишь все Лягушатнику в отсеке С — единственному заключенному, который мог выиграть у тебя в шахматы.

Свою Теорию ты оставишь здесь. Все пять блокнотов. Дальнейшая судьба Теории будет зависеть от ответа Шоны.

И все же есть вопрос с письмом. Есть вопрос с фотографией.

Ты поклялся больше его не перечитывать. Ты все равно выучил его почти наизусть. Но Шона опаздывает.

Поэтому, убедившись, что руки у тебя сухие и чистые, ты с трудом встаешь, дотягиваешься до верхней полки и достаешь конверт.

Письмо Блу Харрисон короткое, лаконичное. Всего один листок линованной бумаги. Она вывела твой адрес наклонным почерком: Ансель Пэкер, тюрьма «Полунски», корпус 12, отсек А, отделение смертников. Долгий вздох. Ты бережно кладешь конверт на подушку, а затем, отодвинув стопку книг, находишь фотографию, приклеенную скотчем и спрятанную между полкой и стеной.

Это твой любимый уголок камеры, отчасти потому, что его никогда не обыскивают, а отчасти из-за граффити. Тебя держат в этой камере в отсеке А с тех пор, как назначили официальную дату, а когда-то, еще до тебя, другой заключенный старательно выцарапал на бетоне слова: «Мы все бешеные». Видя эту надпись, ты каждый раз улыбаешься — настолько она странная, нелепая и непохожая на другие тюремные граффити (в основном цитаты из Писания и изображения гениталий). В нацарапанной фразе есть тихая правда, учитываемая обстоятельства, ее можно назвать почти забавной.

Ты отклеиваешь скотч от уголка фотографии, стараясь не порвать. Садись на кровать, держа фотографию и письмо на коленях. «Да, — думаешь ты. — Мы все бешеные».

Пока несколько недель назад не пришло письмо от Блу Харрисон, фотография была единственным, что ты хранил для себя. Еще до вынесения приговора, когда твой адвокат верила в историю с вынужденным признанием, она предложила тебе помощь. Потребовалось несколько телефонных звонков, но в конце концов ей удалось отправить фотографию по почте из офиса шерифа в Таппер-Лейке.

На фотографии «Синий дом» выглядит маленьким. Ветхим. Из-за ракурса не видно ставни с левой стороны, но ты помнишь, как они утопали в гортензиях. Глядя на фотографию, легко увидеть только ярко-синий дом с облупившейся краской. Признаки того, что это ресторан, не бросаются в глаза. Над крыльцом развевается флаг: открыто. Гравийная подъездная дорожка расчищена, чтобы создать импровизированную парковку для посетителей. С улицы занавески кажутся просто белыми, но ты знаешь, что с другой стороны они в красную клетку. Ты помнишь запахи. Картофель фри, лизол, яблочный пирог. Лязг кухонных дверей. Пар, разбитые стаканы. В день, когда была сделана фотография, небо было подернуто дождем. Глядя на снимок, ты почти чувствуешь резкий дух серы.

Твоя любимая деталь на фотографии — окно верхнего этажа. Занавеска слегка приоткрыта, и, если присмотреться, можно увидеть силуэт руки, от плеча до локтя.

Обнаженной руки девочки-подростка. Тебе нравится представлять, что она делала в тот самый момент, когда была сделана фотография, — вероятно, стояла у двери своей спальни, разговаривая с кем-то или смотря в зеркало.

Она подписала письмо «Блу». Ее настоящее имя Беатрис, но для тебя и всех, кто тогда ее знал, она не была Беатрис. Она всегда была Блу: Блу с заплетенными в косу и перекинутыми через плечо волосами. Блу в толстовке команды по легкой атлетике Таппер-Лейка с нервно натянутыми на запястья рукавами. Возвращаясь в памяти к Блу Харрисон и времени, проведенному в «Синем доме», ты вспоминаешь, как она никогда не могла пройти мимо витрины, не бросив тревожный взгляд на свое отражение. Ты не знаешь, что за чувство испытываешь, когда смотришь на фотографию. Оно не может быть любовью, потому что тебя проверяли: ты не смеешься и не вздрагиваешь в нужные моменты. Есть статистика. Что-то насчет распознавания эмоций, сочувствия, боли. Ты не понимаешь ту любовь, о которой читаешь в книгах, а фильмы тебе нравятся в основном за то, что по ним можно изучать мастерство перевоплощения. И все же, что бы они ни говорили о твоих способностях, — это не может быть любовью, это было бы невозможно с неврологической точки зрения, — но, глядя на фотографию «Синего дома», ты переносишься туда. В место, где крики прекращаются. Тишина восхитительна, она приносит невыразимое облегчение.

Наконец-то эхо из длинного коридора. Знакомое шарканье шагов Шоны.

Ты опускаешься на пол, возобновляешь размеренные движения кистью: ты усеиваешь траву крошечными красными цветочками. Ты пытаешься сосредоточиться на кончике щетины, на восковом запахе раздавленного карандаша.

— Заключенный, назовите свое имя и номер.

Голос Шоны всегда звучит так, словно она на грани срыва, — сегодня каждые пятнадцать минут будет подходить надзиратель, чтобы убедиться, что ты все еще дышишь. Ты не осмеливаешься оторвать взгляд от своей картины, хотя и знаешь, что на ее обнаженном лице будет написано все то же откровенное и неприкрытое желание, смешанное теперь с волнением или, может быть, печалью, в зависимости от ее ответа.

У тебя есть то, что нравится Шоне, но на самом деле ничего из этого не имеет отношения к тебе. Ее увлекает твое положение: твоя сила заперта в клетке, ключ буквально у нее в руках. Шона из тех женщин, которые не нарушают правил. Она послушно отворачивается, пока надзиратели-мужчины производят досмотр с раздеванием перед каждым душем и каждым часом прогулки. Ты проводишь двадцать два часа в сутки в этой камере размером два на три метра, где физически не можешь

видеть других людей, и Шона это знает. Она из тех женщин, которые читают любовные романы с мускулистыми мужчинами на обложках. Ты чувствуешь запах ее стирального порошка и сэндвича с яичным салатом, который она приносит из дома на обед. Шона любит тебя за то, что вы не можете стать ближе, за то, что между вами стальная дверь, обещающая и страсть, и безопасность. В этом смысле она совсем не похожа на Дженни. Дженни вечно прощупывала тебя, пыталась заглянуть внутрь. «Расскажи мне, что ты чувствуешь, — говорила Дженни. — Отдай мне всего себя». Но Шона наслаждается расстоянием, опьяняющей неизвестностью, которая всегда разделяет двух людей. И теперь она стоит на краю пропасти. Требуется вся сила воли, чтобы не поднять глаза и не подтвердить то, что ты и так знаешь: Шона принадлежит тебе.

— Ансель Пэкер, — спокойно отзываешься ты. — 999631.

Форма Шоны поскрипывает, когда она наклоняется, чтобы завязать шнурки на ботинке. Камера в углу не охватывает ту часть клетки, где идеально расположился твой холст. Мелькает быстрая, почти неуловимая вспышка белого — проблеск бумаги: записка Шоны проскользывает в дверную щель и незаметно прячется под краем картины.

*

Шона верит в твою невиновность. «Ты бы никогда этого не сделал, — прошептала она однажды, остановившись возле твоей камеры во время долгой вечерней смены. Ее щеки были изрезаны тенями. — Ты бы никогда».

*

Она, конечно, знает, как тебя называют в корпусе 12.

Убийца Девочек.

Газетная статья изобиловала подробностями: она вышла после твоей первой апелляции и прозвище распространилось по корпусу 12 со скоростью лесного пожара. Автор свалил все случаи в одну кучу, будто они были преднамеренными, связанными друг с другом. Девочки. В статье использовалось это слово, которое ты ненавидишь. «Серийный» — это нечто иное, ярлык, предназначенный для мужчин, непохожих на тебя.

Ты бы никогда. Шона уверена, хотя ты сам ни разу этого не утверждал. Ты предпочитаешь позволять ей пустословить, позволять, чтобы негодование взяло верх, — это неизмеримо проще, чем вопросы: «Вы сожалеете? Вы раскаиваетесь?» Ты никогда до конца не понимаешь, что это значит. Конечно, ты сожалеешь. Точнее, ты не хотел бы здесь находиться. Ты не представляешь, как чувство вины может кому-то помочь, но этот вопрос задавали тебе годами, на протяжении всего судебного

процесса и твоих многочисленных безуспешных апелляций. «Способны ли вы? — спрашивают они. — Способны ли вы физически испытывать сочувствие?»

Ты засовываешь записку Шоны за пояс штанов и смотришь на слона на потолке. У слона улыбка психопата, в одно мгновение он живой, а в следующее — просто впечатление. Сам этот вопрос абсурден, почти безумен: нет ни черты, которую можно переступить, ни сигнала тревоги, который можно активировать, ни весов, на которых можно взвесить. Наконец ты сделал вывод, что на самом деле вопрос не в сочувствии. Вопрос в том, как ты вообще можешь быть человеком.

И все же. Ты подносишь большой палец к свету, рассматриваешь его вблизи. В этом узоре есть что-то неоспоримое и настойчивое: слабое, как у мыши, биение твоего пульса.

*

Есть история, которую ты знаешь о себе. Есть история, которую знают все. Вытаскивая из-за пояса записку Шоны, ты удивляешься, как эта история настолько искажилась: теперь важны только моменты твоей слабости, они разрослись, поглотив все остальное.

Ты горбишься, чтобы камера, расположенная в углу твоей клетки, не засекала записку. Вот они, написанные неровным почерком Шоны. Три слова:

«Я сделала это».

Надежда вспыхивает ослепительно-белым огнем. Она прожигает каждый дюйм твоего тела, мир раскалывается и истекает кровью. У тебя осталось одиннадцать часов и шестнадцать минут, а может, если верить обещанию Шоны, у тебя впереди целая жизнь.

*

«Наверняка были и другие времена, — как-то сказал тебе репортер. — Времена до того, как вы стали таким».

Если эти времена когда-то были, тебе хотелось бы их вспомнить.

Лаванда

1973 год

Если и было какое-то «до», то началось оно с Лаванды.

Ей было семнадцать лет. Она знала, каково приносить жизнь в этот мир. Серьезность. Она знала, что любовь может плотно укутать, а может и ранить. Но до поры до времени Лаванда не понимала, каково расстаться с тем, что она вырастила у себя внутри.

*

— Расскажи мне что-нибудь, — выдохнула Лаванда в перерыве между схватками.

Она лежала на одеяле в сарае, привалившись спиной к стогу сена. Джонни склонился над ней с фонарем в руке, его дыхание клубилось белыми облачками в студеном воздухе поздней зимы.

— Малыш. Расскажи мне про малыша, — попросила Лаванда.

Становилось ясно, что ребенок действительно может убить ее. Каждая схватка доказывала, насколько они неподготовлены: несмотря на всю браваду Джонни и отрывки из медицинских учебников его деда, которые

Джонни цитировал, ни он, ни она почти ничего не знали о родах. В книгах об *этом* не упоминалось. Кровь, апокалиптический ужас. Боль, раскаленная добела и пропитанная потом.

— Он вырастет и станет президентом, — сказал Джонни. — Он будет королем.

Лаванда застонала. Она чувствовала, как головка ребенка, словно наполовину вылезший грейпфрут, раздирает ее плоть.

— Ты же не знаешь, что это мальчик, — с трудом произнесла она. — К тому же королей больше не существует.

Она тужилась, пока стены сарая не окрасились алым. Ее тело казалось полным осколков, что-то рвалось и скручивалось у нее внутри. Когда началась следующая схватка, Лаванда погрузилась в нее и из ее горла вырвался гортанный крик.

— Он будет хорошим, — сказал Джонни. — Он будет храбрым, умным и сильным. Я вижу его головку, Лав, ты должна продолжать тужиться.

Черная пелена. Все ее существо превратилось в одну сплошную рану. Потом раздался вопль, жалобный плач. Джонни был по локоть в крови, и Лаванда смотрела, как он взял простерилизованный спиртом секатор, а затем перерезал им пуповину. Через несколько секунд Лаванда держала его на руках. Своего ребенка. Скользящий от последа, с пеной на головке, младенец представлял собой клубок разъяренных конечностей. В свете

фонаря его глаза казались почти черными. «Он не похож на младенца, — подумала Лаванда. — Маленький фиолетовый инопланетянин».

Джонни, отдуваясь, тяжело опустился на сено рядом с ней.

— Посмотри, — прохрипел он. — Посмотри, что мы сделали, девочка моя.

Это чувство охватило Лаванду как раз вовремя — любовь, настолько всепоглощающая, что она больше походила на панику. За ним немедленно последовало тошнотворное, неистовое чувство вины. Ведь в ту же секунду, когда она увидела ребенка, Лаванда поняла, что не хочет такой любви. Эта любовь была слишком сильной. Слишком голодной. Но он рос у нее внутри все эти месяцы, и теперь у него были пальчики на руках и ногах. Он жадно глотал кислород.

Джонни вытер младенца полотенцем и решительно приложил его к соску Лаванды. Глядя на сморщенное, шелушащееся тельце, Лаванда была благодарна за темноту в сарае, за уже мокрое от пота лицо — Джонни терпеть не мог, когда она плакала. Когда Лаванда положила ладонь на круглую головку младенца, к ее первым предательским мыслям уже примешивалось сожаление. Она заглушила это чувство заверениями, прошептала в скользкую кожу ребенка: «Я буду любить тебя, как океан любит песок».

Они называли младенца Анселем, в честь деда Джонни.

Вот что обещал Джонни: тишину. Открытое небо. Целый дом в их распоряжении, собственный сад для Лаванды. Никакой школы, никаких разочарованных учителей. Вообще никаких правил. Жизнь, в которой никто за ними не следил, — в фермерском доме они были одни, совершенно одни, а ближайший сосед находился на расстоянии шестнадцати километров. Иногда, когда Джонни уходил на охоту, Лаванда вставала на задней веранде и кричала во весь голос, до хрипоты, чтобы проверить, не появится ли кто-нибудь. Никто не пришел ни разу.

Всего год назад Лаванда была обычной шестнадцатилеткой. Шел 1972 год, она проводила дни, пропуская мимо ушей уроки математики, истории и английского, и хихикала со своей подругой Джули, покуривая настрелянные у дверей спортзала сигареты. С Джонни Пэкером она познакомилась в таверне, куда они пробрались однажды в пятницу. Он был постарше, симпатичный. «Ну прямо молодой Джон Уэйн», — фыркнула Джули, когда Джонни впервые заехал за ней после школы на своем пикапе. Лаванде нравились всклокоченные волосы Джонни, его фланелевые рубашки и тяжелые рабочие ботинки. Руки Джонни вечно были грязными из-за работы на ферме, но Лаванде нравилось, как от него пахло. Машинным маслом и солнечным светом.

В последний раз, когда Лаванда видела свою мать, та, ссутулившись, сидела за складным карточным столиком, изо рта у нее свисала сигарета. Мать попыталась соорудить на голове бабетту — начес получился плоским, кривым, как спущенный воздушный шарик. «Валяй, — сказала мать Лаванды. — Бросай школу, переезжай на эту захудалую ферму».

Улыбка, полная мрачного удовлетворения.

«Вот увидишь, милая. Мужчины — волки, а некоторые волки терпеливы».

Уходя, Лаванда стащила с комода старинный медальон матери. Ржавый металлический кружок с пустым местом для имени внутри. Сколько она себя помнила, медальон красовался в центре сломанной шка-тулки матери — единственное доказательство того, что мать Лаванды была способна чем-то дорожить.

Жизнь на ферме действительно оказалась не совсем такой, как представляла себе Лаванда. Она перебралась туда через полгода после знакомства с Джонни, он жил там со своим дедом. Мать Джонни умерла, а отец уехал, и ни о ком из них он никогда не говорил. Когда Джонни был ребенком, старик Ансель, ветеран войны с басовитым голосом, заставлял его работать по хозяйству за еду. Старик Ансель кашлял и кашлял, пока не умер через несколько недель после приезда Лаванды. Они похоронили его во дворе под елью. Лаванда не любила ходить по этому месту, там все еще оставался холмик голой земли. Она научилась доить козу, сворачивать

шеи курицам, прежде чем ощипать и выпотрошить их. Она ухаживала за огородом, который был в десять раз больше клочка земли за трейлером ее матери, — огород вечно грозил зарости и выйти из-под контроля. Она отказалась от регулярного душа, потому что с краном на улице это было слишком сложно, и ходила с нечесаными волосами.

Джонни занимался охотой. Очищал воду. Делал починки в доме. Иногда по вечерам он звал Лаванду после долгого дня работы во дворе, — она заставляла его стоящим у двери в расстегнутых штанах, возбужденным и ждущим с ухмылкой на лице. В такие вечера он швырял ее к стене. Пока Джонни жадно рычал ей в шею, она, с силой прижатая щекой к шершавому дереву, наслаждалась его страстью. Его требовательными толчками. Его распалюющими мозолистыми руками. «Девочка моя, девочка моя». Лаванда не знала, что больше ее заводит: жесткость Джонни или то, что она может ее укоротить.

*

Подгузников у них не было, поэтому Лаванда обернула вокруг пояса Анселя чистую тряпку и завязала ее узлом на ножках. Она плотно запеленала его в одно из одеял, найденных в сарае, а затем заковыляла вслед за Джонни.

В дом она возвращалась босиком. Голова кружилась. Ей было так больно, что она не помнила, как добралась до сарая, помнила только, что Джонни нес ее

на руках, и теперь у нее не было обуви — воздух поздней зимы обжигал холодом, и Лаванда прижимала к груди захлебывающегося воплями Анселя. Она предполагала, что было около полуночи.

Фермерский дом стоял на вершине холма. Даже в темноте он выглядел покосившимся, опасно накренившимся влево. Дом постоянно требовал ремонта. Дед Джонни оставил их с лопнувшими трубами, протекающей крышей и выбитыми оконными стеклами. Обычно Лаванда не придавала этому значения. Все искупали мгновения, когда она в одиночестве стояла на веранде, глядя на бескрайнее поле. По утрам колышущаяся трава отливала серебром, по вечерам — рыжиной, а за пастбищем виднелись ощерившиеся вершины гор Адирондак. Фермерский дом находился недалеко от Эссекса, штат Нью-Йорк, в часе езды от Канады. В ясные дни ей нравилось, шурясь от солнца, представлять себе невидимую черту, за которой даль переходит в совершенно другую страну. Эта мысль была экзотической, чарующей. Лаванда никогда не покидала штат Нью-Йорк.

— Ты не разожжешь огонь? — попросила она, когда они вошли. В доме было холодно, от тяги в печи шевелилась остывшая с прошлой ночи зола.

— Уже поздно, — сказал Джонни. — Разве ты не устала?

Спорить не стоило. Лаванда с трудом поднялась по лестнице, где вытерла кровь с ног тряпкой для мытья посуды и переделалась. Ни одна из ее старых вещей

больше не налезала: вельветовые брюки клеш, которые она купила на барахолке с Джули, лежали в коробке вместе с самыми нарядными блузками с воротничкам — все это стало слишком тесным для ее выпирающего живота. К тому времени, как она забралась в постель, надев старую футболку Джонни, тот уже спал, а Ансель возился в свертке у нее на подушке. Шею Лаванды стягивал высохший пот, и, сидя с младенцем на руках, она погрузилась в тревожную полудрему. К утру тряпка Анселя промокла насквозь, и Лаванда почувствовала, как по ее сдуваемому животу стекает жижа.

Проснувшись от запаха, Джонни вскинулся — потревоженный Ансель пронзительно заплакал.

Джонни встал, нашарил старую футболку и бросил ее на кровать, но чуть дальше, чем могла дотянуться Лаванда.

— Если ты можешь поддержать его секундочку... — начала Лаванда.

Тот взгляд, которым Джонни одарил ее тогда. Выражение досады было чуждо его лицу — это чувство было таким уродливым, что, вероятно, зародилось внутри самой Лаванды. Ей захотелось попросить прощения, хотя она и не знала за что. Прислушиваясь к скрипу шагов Джонни, спускающегося по лестнице, Лаванда прижалась губами ко лбу кричащего младенца. Разве не так было всегда? Все эти ее предшественницы, женщины, жившие в пещерах, шатрах и кибитках. Удивительно, как она раньше не задумывалась об этом

древнем, неизменном факте. Материнство по своей природе — это то, что ты делаешь в одиночку.

*

Вот что Джонни когда-то любил: родинку на затылке Лаванды, которую он целовал перед сном. Косточки ее пальцев, маленькие, но он мог поклясться, что чувствует каждую из них. То, как передние зубы Лаванды налезали друг на друга: «кривозубка» — так он ее дразнил.

Теперь Джонни не видел ее зубов. Зато видел царапины на ее лице от крошечных ногтей Анселя.

«Бога ради, — говорил он, когда Ансель кричал. — Неужели ты не можешь его заткнуть?»

Джонни сидел за щербатым столом и пухлыми пальчиками Анселя рисовал мультяшных зверушек на остатках жира на тарелке. «Собака, — хриплым от нежности голосом объяснял Джонни. — Курица». Лицо Анселя было неопределенным, непонимающим — когда малыш неизбежно захныкал, Джонни передал его обратно Лаванде и встал, чтобы выкурить свою вечернюю сигару. Снова оставшись одна, Лаванда, пока пальцы Анселя размазывали жир по ее рубашке, старалась удержать эту сцену в памяти. То, как Джонни смотрел на своего сына в короткие идеальные минуты, словно желая передать ребенку свою душу. Как будто ДНК было недостаточно. Воркующий и ласковый, с малышом на коленях, Джонни

походил на того мужчину, с которым Лаванда так давно познакомилась в таверне. Она все еще слышала заплетающийся от пива голос Джули.

«Спорим, внутри он мягкий, — прошептала тогда Джули. — Спорим, от него можно откусить кусочек».

*

К тому времени, как Ансель научился самостоятельно садиться, Лаванда уже не помнила очертаний лица Джули — только ресницы и хитрую, озорную улыбку. Потертые джинсы и чокер на шее, никотин и самодельный бальзам для губ. Голос Джули, напевающий The Supremes. «А как же Калифорния? — спросила преданная ей Джули, когда Лаванда объявила, что переезжает на ферму. — А как же протесты? Без тебя будет совсем не то». Лаванда помнила силуэт Джули за окном отъезжающего автобуса, нарисованный от руки плакат «Прекратите войну во Вьетнаме!», засунутый куда-то под ноги. Джули помахала рукой, когда «Грейхаунд» с кряхтением отъехал, и Лаванда не задумалась — даже не задалась вопросом, — может ли решение привести к разрушению.

*

Дорогая Джули.

Лаванда сочиняла письма мысленно, потому что у нее не было ни адреса, ни способа добраться до почтового

отделения. Она не умела водить, а Джонни пользовался пикапом только раз в месяц, чтобы в одиночку съездить в магазин. «На ферме столько работы, — говорил он. — Зачем тебе понадобилось в город?» Выгружая банки консервов, Джонни хмурился и бормотал голосом, который принадлежал его деду: «Дороговато содержать вас двоих».

*

Дорогая Джули.

Расскажи мне о Калифорнии.

Я часто думаю о тебе — наверное, ты загораешь на солнышке где-нибудь на пляже. Здесь все хорошо. Анселю сейчас пять месяцев. У него такой странный взгляд, как будто он видит тебя насквозь. В любом случае надеюсь, что там теплее. Когда-нибудь, когда Ансель подрастет, мы найдем тебя. Он славный малыш, тебе он понравится. Мы все посидим на песке.

Дорогая Джули.

Сегодня Анселю восемь месяцев. Он такой пухленький, складки на его ножках будто из теста. У него уже два зуба, торчат как маленькие косточки.

Я все время вспоминаю, как однажды летом мы отправились на окраину участка, где растет дикая малина. Джонни клал ягоды прямо в ротик Анселю, ладошки Анселя покраснели от сока. Они были похожи

Содержание

12 часов	9
Лаванда	25
1973 год	
10 часов	65
Саффи	75
1984 год	
8 часов	98
Хейзел	105
1990 год	
7 часов	135
Саффи	149
1999 год	
6 часов	203
Лаванда	214
2002 год	
4 часа	243
Хейзел	256
2011 год	
2 часа	285

Саффи	291
2012 год	
1 час	342
Хейзел	353
2012 год	
Саффи	361
2012 год	
Лаванда	380
2019 год	
18 минут	392
Лаванда сейчас	397
Саффи сейчас	398
Хейзел сейчас	405
0	417
Где-то	426
Благодарности	431